

Жорж Экоут

Из мира «бывших людей»



Жорж Экоут

Из мира «бывших людей»

«Public Domain»

1904

Экоут Ж.

Из мира «бывших людей» / Ж. Экоут — «Public Domain», 1904

«Газеты уделили очень много места одному таинственному делу: делу этого молодого могильщика, приговорённого к шестимесячному пребыванию в тюрьме за осквернение могилы и чувствовавшего с тех пор умственное расстройство. Они вмешали в дело покойного Лорана Паридаля, имя которого встречалось на судебном разбирательстве дела, двоюродного брата Регины Добузье, моей жены, состоявшей в первом браке с Г. Фредди Бежаром, погибшем так несчастно с большею частью своих рабочих, при взрыве на своей гильзовой фабрике. Наш родственник, Лоран Паридаль был найден на месте катастрофы и казался мёртвым. Богу не было угодно, чтобы он погиб там! Тогда он не вёл бы такой невозможной жизни, он избег бы ещё более жалкой смерти, покончив с собою, после стольких странных поступков. Его почтенные родственники не испытали бы унижения видеть его имя рядом с именем преступника и его память, предоставленную комментариям прессы, любящей скандалы...»

Содержание

I. Почтенный депутат Бергман знакомит с этим несчастным Лораном Паридалем	6
II. Оборванцы в бархатной одежде	15
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Жорж Экоут

Из мира «бывших людей»

Душа страдает, поскольку она охвачена несовершенными идеями.
Спиноза.

Реми де Гурмону, учёному, мыслителю, художнику – в знак поклонения и симпатии.
Ж. Э.

I. Почтенный депутат Бергман знакомит с этим несчастным Лораном Паридалем

Hast du gute Gesellschaft gesehen?

.....

Gute Gesellschaft habe ich gesehen;

man nennt sie die gute

Weil sie zum kleinsten Gedicht keine

Gelegenheit gibt.

Гёте (Венецианская эпиграмма).

Газеты уделили очень много места одному таинственному делу: делу этого молодого могильщика, приговорённого к шестимесячному пребыванию в тюрьме за осквернение могилы и чувствовавшего с тех пор умственное расстройство. Они вмешали в дело покойного Лорана Паридаля, имя которого встречалось на судебном разбирательстве дела, двоюродного брата Регины Добузье, моей жены, состоявшей в первом браке с Г. Фредди Бежаром, погибшем так несчастно с большею частью своих рабочих, при взрыве на своей гильзовой фабрике. Наш родственник, Лоран Паридаль был найден на месте катастрофы и казался мёртвым. Богу не было угодно, чтобы он погиб там! Тогда он не вёл бы такой невозможной жизни, он избег бы ещё более жалкой смерти, покончив с собою, после стольких странных поступков. Его почтенные родственники не испытали бы унижения видеть его имя рядом с именем преступника и его память, предоставленную комментариам прессы, любящей скандалы.

Разумеется, мне неприятно снова касаться всех этих воспоминаний, но было высказано столько невероятных рассказов о характере и поведении нашего несчастного родственника, что я счёл своим долгом исправить факты.

Это был неуравновешенный человек, ненавидевший всю условность жизни, но он выработал себе специальное представление о человечестве и о природе, и сообразуясь с этим особенным взглядом, можно понять, что он вносил некоторую логику в свои заблуждения и что он руководился ими с рыцарским благородством, сходным с приёмами апостола.

Я был с ним хорошо знаком, в особенности, до моего брака с его кузиной, вдовой Бежара. Наши добрые отношения продолжались до тех пор, пока его аномалии не сделались столь явными, что, не прерывая с ним, я вынужден был, по своему положению и своим сношениям с другими людьми, не показываться в его обществе.

Со своей стороны, он навсегда сохранил в своей душе некоторое уважение ко мне. Умирая, он завещал мне рукопись своего дневника, что-то вроде исповеди, с помощью которой он желал оправдаться в моих глазах.

Чтение этих тетрадей, вместе с тем, что я знал по опыту о судьбе бедного юноши, в достаточной мере ввело меня в недоумение, разделившееся между сожалением и чувством отвращения; тем не менее, эта исповедь, даже самая неожиданная, позволяет мне убедиться в честности и великодушном характере покойного; она показывает редкий ум, блестящие, хотя заблуждающиеся способности, необыкновенную чувствительность, говорящую об извращениях вкуса, но не о полном разврате. Прочитав их, всякий добросовестный читатель согласится со мной, что Паридаль был прежде всего несчастным, одновременно собственным палачом и собственной жертвой. Для наставления честных людей я решаюсь печатать эти записки. Моё первое движение, ознакомившись с ними, было – сжечь их, но, имея в виду клеветы, возведённые на память Паридаля газетами, я считаю своим долгом выпустить их в свет.

Я позволил себе только пополнить их тем, что он сам выпустил, так как я хорошо знал его личность.

Признаюсь ли я? Переписывая эти страницы, много раз волнуясь сильнее, чем это могло бы быть, я понял, какая живая сила была потеряна для общества и для родины. Несмотря на их беспокойный тон, эти излияния отличаются таким очарованием, что я начинал сомневаться в своём здравом смысле. Он или я, кто из нас смотрит неправильно? спрашивал я себя, – настолько убедительны были выражения, и настолько связно передавались эти заблуждения. Предоставляя эти записки гласности, я льщу себя надеждой, что оказываю услугу учёным, занимающимся нашими психозами и предостерегающим нас от заблуждений того, кого мы, пристрастно, называем талантом. Проступок Паридалея, разумеется, казалось мне, должен был заинтересовать по существу этих специалистов. Проблема, чрезвычайно современная, находится в связи с его кончиною, как и странный поступок этого таинственного рабочего, о котором я говорил вначале.

После этих необходимых предисловий, я обращусь к той поре, когда я познакомился с Лораном Паридалем.

Это произошло во время простого обеда у г-на и г-жи Добузье, крупных промышленников, владельцев фабрики стеариновых свечей, моих будущих родственников. Сирота уже в течение двух лет, помещённый своими опекунами, моими хозяевами, у которых я был в гостях, в далёкий колледж, молодой Лоран приехал провести у них каникулы. Мы сели уже за стол. Г. Добузье разливал суп. Слуги продолжали с шумом звать повсюду Лорана; один стоял у подножья лестницы, другой у входной двери, третий у двери, ведущей в сад. Опоздавший юноша, наконец, прибежал, задыхаясь и весь в поту. Это был очень красивый мальчик, очень солидный для своих четырнадцати лет, с широким лбом, скрытым за прядями каштановых волос, с большими впалыми глазами, окружёнными синевой, с диким взглядом загнанного зверя, с довольно большим ртом, носившим преждевременно недовольное и горькое выражение. Царапины на щеках и руках, новый костюм, покрытый грязью и уже прорванный, указывали в нём темперамент сорванца и приверженца бешеных упражнений. Увидя его в таком виде, г. Добузье сдвинул брови и точно хотел пронзить его взглядом:

– В каком вы виде... Скорее поднимитесь в вашу комнату и не возвращайтесь, пока не примете приличный вид!

Мои хозяева воспользовались его отсутствием, чтобы поделиться со мною беспокойством, которое он им причинял. Этот ребёнок мешал их лучшим намерениям. Несмотря на его ум, он приводил в отчаяние своих учителей. Вместо того, чтобы отдаться изучению полезных знаний, он наполнял свою голову вздорным и дурным чтением; он ссорился с своими товарищами, возбуждал неповиновение, держал себя, как дьяволёнок, совершал шалости за шалостями.

С минуты его возвращения, опекуны всё ещё ждали от него какого-нибудь проявления нежности. Он скрывался от них, стремился говорить с ними только, когда его спрашивали, и пользовался всеми случаями, чтобы избегнуть их общества. Если он не запирался в своей комнате, он шалил на улице, или же, что сильнее всего возмущало г-на и г-жу Добузье, он охотно «связывался», как они говорили, с рабочими их фабрики. Я, представитель демократического течения в парламенте, родившийся в комнате за лавкой совсем мелких торговцев свежей рыбой, в глубине переулка, соседнего с рыбным рынком, я вовсе не разделял точки зрения моих хозяев по поводу удовольствия, которое Лоран получал от общества их честных рабочих.

Когда он снова появился за столом, умытый и подчистившийся, я старался вступить с ним в разговор. Он неохотно отвечал мне; но во время нашей следующей встречи он словно растаял, и мне удалось приручить его, когда он возвращался в колледж. Я снова встретился с ним во время следующих каникул. Мальчик превратился в сильного юношу. Его склонности

совсем не изменились. Он избегал по-прежнему членов своей семьи и их знакомых, чтобы проводить всё время с кочегарами и фабричными магазинщиками. Из своего общества он не признавал никого, даже детей, своих сверстников.

Я был единственным «барином», с которым он был дружен. Горячность, с которой он восхвалял мне своих несчастных друзей, льстила моим политическим убеждениям, благосклонно допускаям сближение капиталистов с наёмными людьми.

Вот несколько отрывков из дневника Лорана, в которых его симпатия к рабочим обозначается в сильно экзальтированных выражениях, но не переходящих границы и согласующихся достаточно хорошо с доводами, которые он мне приводил в то время:

«Я не перестаю наблюдать мостовщиков, занятых своим делом в течение двух дней под моими окнами. Я люблю музыку их трамбовок, мне дорог этот тембр. Они сами согласуют превосходно равномерность своих жестов с цветом своих лохмотьев и всем тем, что видно из их тела. Когда они нагибаются или стоят прямо, во время работы или отдыха, они всегда увлекают меня своею пластическою и простою неловкостью. Голубой оттенок их детских глаз, их коралловые влажные уста усиливают прелесть их загорелых лиц. Я наслаждаюсь движениями их поясницы, их откидыванием торса назад, замешательством их головных уборов, складками их „маронны“ (так называют по-валлонски эти мостовщики, пришедшие из Суаньи и Кэна, занявшиеся в столице тем, что напоминает их родные каменоломни, свои одежды, цвет которых действительно напоминает цвет каштанов).

Обыкновенно, чтобы трамбовать, они идут по два. Сговорившись вдвоём, они плюют в ладони, схватывают трамбовки за ручки, точно проделывают что-то вроде салюта орудий, — и вот они отправляются, согласуясь в своих жестах, толкутся на месте в такт, причём одна трамбовка падает снова, когда другая поднимается.

Иногда они вертятся, оборачиваются друг к другу спиной, удаляются на некоторое время, чтобы снова совершить ряд пируэтов, снова начинать друг против друга и приближаться тем же размеренным аллюром, под звонкий шаг их орудия. Можно было бы сказать, что это очень медленный танец, менуэт труда.

Имъ случается останавливаться, чтобы передохнуть и обменяться какими-нибудь пустяками, которым их улыбка придаёт невыразимую силу. Они отодвигают назад свой головной убор, останавливаются, опустив кулаки к бёдрам, или скрестив руки, немного раздвинув ноги, вытирая лоб краем руки или рукавом рубахи. Молодцы! Их пот наполняет воздух таким же благовонием, как сок сосны и красного дуба; это ладан приятной Богу службы! Какая молитва достойна их труда?

Вчера, на углу одной улицы, в центре города, я встретил чудесного молодого возчика. Он стоял на своей пустой телеге, держа в руке бич и верёвку, с таким видом, точно он правил на колеснице.

Он улыбался такой отважной улыбкой, как щёлканье его бича или ржание его лошади. Наконец, почему он улыбался? Светило солнце, жизнь для него казалась прекрасной. Этот мелкий рабочий заключал в своей радостной личности всё отражение, все свойства их профессии. Он являлся квинт-эссенцией своей корпорации. На следующем перекрёстке он повернул, исчез, щелкая бичом; он стоял на тряской телеге, с жадно открытым ртом, блестящими глазами, розовый и ароматный, поражая дерзостью и молодостью: Антиной, ставший возчиком! Иногда какой-нибудь тряпичник или нищий заставляют меня сидеть дома; я хотел бы просить их навещать меня каждый день, стать как бы лакомством для моих глаз. Эти несчастные люди не подозревают о своей красоте. Никто не будет восторгаться ею, как я это делаю. Я скоро буду увлекаться только одним голосом. Уличный торговец, кричащий о своём песке, о своих вязанках хвороста и ракушках, взывающий о костях и тряпках для своей корзинки или котомки, скрывает в одной интонации все раздирающие душу звуки какого-нибудь адажио. Эти голоса вбирают в себя трогательную сторону жизни, полной борьбы и нищеты.

Я помню, как одной летней ночью два молодца ходили взад и вперёд под моим окном и ссорились. Проснувшись внезапно и рассердившись, я вскочил, чтобы послать этих крикунов ко всем чертям. Когда я высунулся наружу, очарование ночи или скорее – другое очарование, которое я сейчас же себе уяснил, помешало мне выступить. Я не стал разнимать моих двух ссорившихся молодцов; напротив, я прислушивался к ним. Они посылали друг-другу ругательства на языке, которого я не понимал и который без сомнения был фламандским, так как условный воровской язык всё же французский. Каким голосом они произносили эти ругательства! Не видя их, я принялся любить их, за их лирические голоса! Были ли это убийцы, спорившие о добыче, или два друга, соперники в любви? Один обвинял другого; последний горячо защищался. Могли ли они вступить в драку?

Диапазон, до которого поднимались их голоса, мог бы заставить меня опасаться этого. Но их крики утихали. Их приходы и уходы по пустынной улице доставляли мне неслыханные эффекты *crescendo* и *smorzando*, в которые красота ночи влила что-то. Вместо шума воров или ссоры между влюблёнными, они вызвали в моей памяти скорее сцену поединка на античной арене или приготовления к средневековому Божьему суду для разрешения спора.

Лукавый голос одного в конце концов успокоил горячие речи другого. Вскоре всё раздражение прекратилось с обеих сторон, и после того, как мои незнакомцы удалились в последний раз, они повернули за угол, чтобы больше никогда не показываться. С меланхолическим чувством я слушал, как они удалялись, и я был предоставлен покою и безмолвию.

Ах! как я понимаю это происшествие из жизни Микэль-Анджело, рассказанное Бенвенуто Челлини в своих *Мемуарах*: „Пение некоего Луиджи Пульчи было так хорошо, что божественный Буонаротти как только узнавал, где он находился, всегда подстерегал его“. И Бенвенуто прибавляет эту знаменательную подробность: „Певец был сыном того Пульчи, который был обезглавлен за то, что обольстил свою собственную дочь“.

Прощай, эта осень, когда мой двадцатилетний возраст угощался яблоками! Прощайте, золотые огни, которые оживляли металлические оттенки листвы и украшали ореолом моих чудесных рабочих, словно убранных осенними листьями!

Среди всех рабочих землекопы имеют сумрачный и осенний вид: деревенские молодцы, украшенные бархатом и грязью, напоминающие собою оттенок земли, которую они роют и перевозят в тачках в течение шести дней на дворах столицы. Хорошо сложенные, очень мускулистые, с круглыми лицами, благовонными или румяными от зноя, – блондины с светлыми глазами и лохматыми волосами, брюнеты с глазами оттенка их стад, с чёрными и завитыми волосами, более нервные и мускулистые, чем первые – часто они опоясывают себя широким шарфом из красной фланели, придающим их фигуре чудесный выгиб и согласующимся с тоном закоптелого бархата их панталон. Обыкновенно за работой они подворачивают последние, как свои рукава, но их пластичность необыкновенно выделяется, когда козырёк их плоской фуражки принимает форму и соперничает с размером их железных кирок и когда они пользуются этими высокими и тяжёлыми сапогами рабочих, исправляющих сточные трубы, которых оценили Гонкуры до такой степени, что описывали „как они содействуют чудесной осанке и стилю тех, кто их носит, так как поднятие этих импозантных сапог приводит к благородному движению плеч у груди, откинутой назад“.

А Гонкуры знали из их среды только тех, кого видели в Париже! Если б они увидели наших! Если б они, по моему примеру, присутствовали при приезде этих молодцов в те часы, когда подёнщики из Фландрии и из страны „польдерсов“ и Шельды высаживаются у нас, и в особенности, в тот час, когда их партии прибавляют шаг, чтобы дойти на станцию и поместиться в поездах, после остановки у конторки торговца ликёрами. Я представляю себе их возвращение в деревню, где их распушенность терроризирует мирный народ, где они заявляют свои свободные порывы, до такой степени, что все называют „шествием диких“, поезд, везущий ватагу этих буйных землекопов.

Прошли целые века, в течение которых они кишели, подобно тому, как они кричат и роются в грязи теперь. У них было то же выражение лица и тот же смешной наряд. Но их предки играли грубо своими кирками, борясь за спасение отчизны. Вспомним возгласы этих прежних землекопов:

Смелей вперёд!
Разрушим оплот Фарнезе!

И чтобы насладиться вволю и соразмерить свой труд, наши разрушители городских валов затягивают песни Гёзов, в то время, как испанские редуты поддерживают ужасный огонь по их рядам.

Канонада заглушает голоса и сметает певцов. Но другие храбрецы прибегают на место товарищей и подхватывают их кирки и в то же время их припевы.

Да здравствуют Гёзы!

Испанцы кидаются на приступ оплота. Узкая полоса земли становится театром подвигов отчаянных бойцов, дерущихся грудь с грудью. Жители Польдерсов, раздавленные численным превосходством и не имеющие для защиты ничего кроме своих инструментов, казалось, должны были погибнуть. Но в то время, как одни дерутся, находясь в воде по живот, другие продолжают копать землю. Пары катятся вдоль откоса и утопают в реке, не прекратив битвы. Испанцы чинят бреши при помощи тел землекопов. Многие вырыли свою собственную могилу... Оставшиеся в живых, ограничившись одной рукояткою, дерутся не менее быстро от этого.

Ещё удар, вот здесь! Победа! Шельда пускает свои воды в равнину. Землекопы целуются, плача от радости. Одна галера с зеландских островов, наполненная живыми, плывёт в Антверпен.

Да здравствуют Гёзы!»

Бедный Лоран! Зачем он упорствует в этих патриотических чувствах и зачем он захотел распространить на несчастных свой энтузиазм по отношению к историческим гёзам?

После одного бегства, поссорившего его с родными, предоставленный самому себе и владея небольшим состоянием, он не задумался над тем, чтобы отдался своим стремлениям к дружбе с чернью. Хотя он впал в немилость у своей семьи, я продолжал видеться с ним. Подобно нашим общим друзьям, художнику Марболу и музыканту Вивэлуа, я даже жалел, что недостаточно часто встречал его.

Я не первый встречный. Уважение, которым я пользуюсь, похвалы моих политических друзей, в достаточной мере, могут подтвердить это. Тем не менее, я соглашаюсь, что в качестве купца и общественного человека, моя компетентность не переходит за границы вопросов, связанных с материальным интересом и административным порядком. Но Марболь и Вивэлуа – истинные художники, посещать которых было бы полезно моему юному кузену. Один продаёт свои картины, прежде чем они успеют высохнуть, оперы другого исполняются на сценах целого мира. Все ордена украшают их груди. Общество ставит их на равной ноге с банкирами и судо-хозяевами. К тому же, они частые посетители моего дома. Г-жа Бергман, моя жена, абонированная на наши знаменитые концерты, является прилежной посетительницей «первых представлений» и «открытий выставок», т. к. она сама играет, поёт, артистка настолько, насколько может стать ею, не нарушая приличия, женщина, происходящая из знаменитого дома Добузь-Сен-Фар и К°, – повторяю я, моя жена считает моих двух приятелей истинными художниками, именами которых потомство обогатит наш пантеон. Наши скверы ждут только их статуй.

Однако, Лоран предпочитал разговор подобных людей беседе с настоящими неучами, намереваясь обратиться к ещё менее интересным молодцам.

Я предоставил ему место в моих конторах, но он предпочёл наняться, как клеймильщик, к одной компании портовых носильщиков. Однажды, когда я высказал ему своё неудовольствие, он стал так расхваливать свои занятия, достойные сложившегося человека, он украсил их столь поэтическими красками, что я не нашёлся ничего ему ответить. Поверить ему, так во всём Антверпене не существовало более здоровых обязанностей, чем его: можно наслаждаться видами и движениями рейда! Зрелище меняется с каждым днём и даже из часа в час. Какое разнообразие экипажей, кораблей и товаров, не говоря уже о прелести горизонта и волн. А атлетика рабочих, пластика их работ! Волнение приходов и отъездов! Прихотливый полёт ласточек!

Что ещё там?

Это не помешало ему через несколько недель отказаться от всех этих прелестей. Он был уже изнурён этими атлетами и их обстановкой.

– Что же вы думаете делать?

– Увидеть более живую среду и более живых людей.

– Я не понимаю.

– Да, сойтись с бесстыдными молодцами, жить вне общества. Существуют более оригинальные типы, чем «рабочие в доке», на набережных бассейнов...

Я уступал ему его выгрузчиков, я ему уступил много других: перевозчиков, матросов, нанимателей яликов. Эти-то рабочие – молодцы! Если б он применялся к их смешному языку и их тривиальному образу действия, из этого разумеется, ничего бы не вышло. Но, когда он заговорил со мною о желании спуститься на несколько ступеней и отдаться пьянству, я стал отговаривать его из всех сил.

Общество имеет недостатки, я согласен с ним; в нём царит много китайского:

– Тем не менее, – сказал я ему, – законы и правила необходимы и мешают нам впасть в варварство. Социальная разграниченность тоже необходима. Важно, чтобы мы держались на местах и наблюдали расстояние. Интересоваться маленькими людьми, поддерживать их, просвещать: нет ничего лучшего. Что касается того, чтобы жить их жизнью, унизиться до их уровня, это было бы заблуждением. Это равносильно самоубийству! А ты говоришь о том, чтобы спуститься ниже. Ах! Фи!

Негодование давило мне горло, он воспользовался этим, чтобы ответить мне:

– Вы можете думать всё, что вы захотите, мой дорогой Бергман, но я рассчитываю исключительно на эти подонки общества, чтобы сделать свою жизнь сносной. Чем старше я становлюсь, тем менее я нахожусь в своей стихии. Я понимаю так же мало наших буржуа, как мало и они меня понимают. Я знаю и чувствую гораздо больше, чем все эти болтуны, выставляющие напоказ своё знание и свою чувствительность. С самого детства семейная обстановка казалась мне фальшивой. Не подумайте о моей неблагодарности. Мои опекуны желали мне добра; они сделали из меня то, чего они никогда не предвидели. Если я не противился совсем их стремлению, они помогали мне развиваться по собственному желанию. Между тем отсутствие у них любви к человечеству часто возмущало меня, и их стремление показываться, обращать на себя внимание, их светское комедианство должны были внушить моей душе ужас. Разность наших точек зрения увеличивалась до самой минуты разрыва.

Увы, я вскоре открыл, что мои опекуны не составляли исключения, но что всё их сословие, и моё также, в котором я буду вынужден жить, создавалось по одному образцу. Я вышел из семьи, я убежал бы из общества.

Настало время говорить.

В течение уже нескольких лет я стремлюсь к тому, чтобы сблизиться с простыми людьми, почти дикими, которые не будут говорить со мною ни об искусстве, ни о литературе, ни о политике, ни о науке, ни о морали, ни о долге, ни о философии, ни о религии. Я буду легче дышать возле этих грубых существ, чем среди нашего учёного мира, ненавистника редкой идеи

и необыкновенной чувствительности. Я убеждён в том, что душа этих первобытных существ гораздо лучше души многих наших цивилизованных людей. Я стараюсь читать под их грубой оболочкой. Они не знают увёрток, сделок с совестью, обманов. Они предоставляют лучше отгадывать. Ах, Бергман, сколько оттенков и душевных переходов у человека, находящегося близко к природе! Нет ничего новее их впечатлений. Их чувствительность равносильна нашей, но, т. к. она не выражается с такою виртуозностью, как у нас, она становится от этого только более приятной, когда можно узнать, – я сказал бы: вдохнуть её. Там действительно я наклоняюсь над их совестью, точно над кустом боярышника или цветущей сирени...

С физической стороны ваше общество противно мне столько же, сколько и с моральной. Ваши женщины являются скорее куклами и попугаями. Если б греки снова вернулись, они смеялись бы до слёз, пока не провалились бы от ужаса. Что сказали бы Фидий и даже представители эпохи возрождения при виде наших разодетых дам? Как, к тому же, согласовать высокие идеи, которыми вы наделяете ваших подруг, с вашей придворною любезностью, вашим влюблённым рабством, вашими капризами и восхвалениями?

Как ваши светские дамы и ваши куртизанки, если они, действительно, не так глупы, как индейки и журавли, с которыми вы их сравниваете, оставаясь в своей компании, – не принимают за наглую насмешку ваши восторги, проявленные по отношению к ним? Право, я задыхаюсь, и душа моя рвётся наружу в ваших салонах...

– Тогда почему вы не выселяетесь из отчизны? – воскликнул я. – Существуют пустыни, дикари...

– Нет, я слишком люблю родину, и что касается тех, кого я назвал бы «первоначальными людьми», их существует изрядное количество, очень интересных и совершенно свободных людей, среди наших соотечественников. Я люблю из моего народа дурно одетых людей, дерзких на язык, расхаживающих почти обнажёнными и смеющихся над вашей страстью всё нивелировать, и словно брыкающихся подобно мне в классах общества...

– В добрый час! Вот вырвалось у тебя настоящее слово! Ты мечтаешь о революции, анархии. Я мог бы догадаться об этом.

– Ах, нет! протестовал Лоран. Я не завидую ничьему месту, ни положению, ни состоянию. Я нахожу бедняков очаровательными, как они есть. В сущности, нет ничего более правоверного и покорного господствующему учению, чем мои явные разрушения и ереси. Я проповедую оборванную нищету, как освятил её Христос и Франциск Ассизский, как воспевал её Данте в своём «Чистилище», как восторгался ею даже язычник Аристофан в своём Плутусе. Только, в отличие от этих поэтов и этих святых, я не хочу, чтобы мои бедняки были униженными и рабами. Если они возмутятся, я хотел бы, чтобы это произошло по одиночке, каждый за себя, – без того, чтобы в их преступлениях вселился дух социальных требований. Непокорные, согласно моей душе, возмутятся с точки зрения чисто индивидуальной, без политических целей, не питая надежды и тщеславного стремления устроиться в свою очередь на вершине лестнице и царить, насыщаться и невыразимо глупеть, как лучшие современные люди. Клянусь вам, мой добрый Бергман, я не мечтаю о лучшем коллективном положении, я не обольщаю себя никакой утопией, и вы ещё более удивитесь, если я скажу вам, что всех этих красивых мужчин во фраках и высоких цилиндрах, этих гордых дам, украшенных цветами, перьями и безделками, этих автоматов с их поклонами и готовыми формулами, по отношению которых я сейчас только выказывал полное презрение, я считаю необходимыми для гармонии этого мира. Я не хотел бы уничтожить их; я бы с сожалением смотрел, если б они погибли в народном восстании, так как они уступили бы место другим человеческим автоматам, может быть, ещё более безобразным и более глупым, подобно тому, как казни на гильотине и высылки эпохи террора создали когда-то современных капиталистов. Ещё одно: я ненавижу переворот, который стоил бы нам перемены режима. Я нахожу этих буржуа, какими бы раздражающими они ни были однако, необходимыми для моих эстетических потребностей, в том смысле, что они служат

контрастом для моих чудных босяков. Эта дурная порода поддерживает в очень художественной форме, благодаря своей спеси, своему презрению, вымогательствам, всевозможным изменениям, мой превосходный народ, ходящий в рубищах, моих нищих, любимцев поэтов, святых, даже богов, которыми прикрываются ваши западные учреждения и ваше христианство. Во мне нет никаких черт поджигателя. Я даже объявляю себя консерватором, подобно вашим худшим реакционерам; но совсем из других мотивов, из диаметрально им противоположных доводов.

И вот главный из этих доводов: я считаю равными себе только существа, необыкновенно утончённые, членов избранного меньшинства, художников, и ультрачувствительных мыслителей, трагические и великодушные сердца, абсолютных аристократов, извлёкших из глубины науки, философии и эстетики правила жизни и личные взгляды, – но увы, этих равных себе людей я встречаю только в их произведениях. Я поддерживаю всё же письменное знакомство с теми из них, которые являются моими современниками. С другими я могу сойтись только под видом их картин, их книг, их партитур и их статуй. За недостатком этих властителей сердца и ума, я обращаюсь к их антиподам, т. е. к непросвещённым и оборванным существам, красивым первобытной красотой, свободным, привлекательным, грубым людям, искренним даже в своей порочности, диким, как постоянно преследуемая дичь.

Эти две касты, самая высокая и самая низкая, созданы для того, чтобы понять друг друга. Случается иногда, что их представители сходятся, минуя ничтожество и пошлость промежуточных классов – для большого скандала этих последних, которые взывают тогда о несправедливости, позоре, предполагая для этих слияний гнусные причины, столь же мерзкие пошлости, как и их души.

Да, Бергман, помимо аристократии, я чувствую симпатию и уважение только к правдивому оборванцу!

– Правдивому оборванцу! – повторил я, ошеломлённый.

– Да, правдивому оборванцу! Совершенно верно!

И, так как я взялся за голову двумя руками, чтобы заткнуть уши, Лоран настойчиво продолжал. В виду того, что любопытство взяло верх в моей душе над негодованием, – я ничего подобного никогда не слышал, – я снова стал его слушать. Он не занёс вовсе этой сцены в свой дневник. Я восстановил её возможно лучше, имея в виду странный свет, какой она бросала на его личность:

– Г. Фон-Вехтер, немецкий учёный, разделяет вместе с другими свободными умами мою особенную любовь к черни. Он объясняет, что возвышенные души страдают до такой степени от тщеславия и глупости так называемых, равных им людей, что им необходимо бывает освежиться в сношении с варварами и дикими людьми. Если наше интеллектуальное превосходство делает нас непримиримыми с теми, кто плутует в божественных играх поэзии и искусства, с мазуриками, слишком наполняющими наш социальный игорный дом; в противовес этому, оно заставляет нас необыкновенно ценить искренность и невежество, оставшиеся уделом босяков. Отсюда вытекает сближение крайностей. Тщетность науки, – возразите вы. Ошибка! Только благодаря нашей науке мы постигаем очарование невинности, которая сама себя не знает, и прелесть которой мы начинаем, наконец, распознавать. – «Любить, говорил г. Фон-Вехтер, значит, искать того, чего нам недостаёт!» Отсюда вытекает, у тех, которые находятся на вершинах и принуждены жить одиноко или среди искусственного мира, потребность сближения с простой природой. Поэтому отнюдь не низкая чувствительность, испорченность вкуса, ужасное стремление, заставляет какое-нибудь знаменитое лицо обратиться к самому низкому рабочему, невежественному, но здоровому, отличающемуся хорошим здоровьем и красивой наружностью? Этот аристократ ощутит себя непреодолимо увлечённым этим цветком природного растения, который чувствуется у какого-нибудь обозного служителя, землекопа, крестьянина, несчастного оборванца, – тем, что исходит из всех его пор, подобно клею выступающему на вишнёвых деревьях, соку у тополей и смолы у ёлок. Миф об Антее сбывается ещё и в наши

дни. Титан мог померяться с богами, только – спускаясь иногда с звёздных высот, чтобы прикоснуться к земной грязи.

Выслушивая, как Паридадь излагал этот вздор, я падал с ещё большей высоты, чем его гигант. Я посылая откровенно ко всем чертям немецких мечтателей, психологов, метафизиков и других шарлатанов, вздорные книги которых поколебали разум моего молодого друга.

Когда он, наконец, дошёл до конца своей тирады, я заметил ему торжественным тоном, что я не в настроении шутить. Я умолял его войти в норму честных людей. Его слова показали мне гордое, скорее – тщеславное чувство, захватившее его, и способное привести его к гибели. Он говорил мне об Антее. Я напомнил ему примеры дурных ангелов, низвергнутых с неба, за то, что они хотели сравниться с Богом. «Ты гораздо безумнее Люцифера, сказал я ему, так как ты охотно погружаешься в пропасть. Потеряв голову от тщеславия, ты не видишь другого средства, чтобы подняться над обществом, как только – изгнать из него самого себя, смешиваясь с подонками, которых оно выбросило из своей среды».

После этого строгого выговора, я замолчал на несколько минут, сам удивляясь моему красноречию. Никогда я не чувствовал себя до такой степени точно «закусившим удила». Никогда, – даже в Палате. Что касается Лорана, мой лиризм, казалось, почти смутил его. К несчастью, я не мог продолжать в том же тоне. Я спустился с тренажника, чтобы отдалиться более прозаическим убеждениям. В сотый раз я рекомендовал Лорану правильный труд, как отвлечение от его фантазий; я снова предлагал ему устроиться в моих конторах, где он мог бы применять самым полезным образом это обширное знание, которым он хвастался, и которое рисковало заглухнуть в головокружительных мечтах.

Лоран очень высокомерно отнёсся к моим предложениям и ещё раз отказался. Никогда он не возьмёт место бюрократа. Самая ничтожная зависимость, малейший контроль отталкивали его, точно посягательство на его свободу. Я порвал бы окончательно с этим блудным сыном, если бы наши общие друзья не вмешались. Молодой человек возбуждал, несмотря на всё, непонятное очарование в них, как и во мне. Благодаря ему, наши беседы поднимались над болтовнёй и сплетнями в кабачке. К тому же мы льстили себя надеждой привести его к более здоровым понятиям, и мы объясняли его заблуждения – неукротимостью его темперамента и неопытностью. В это время я не читал ещё его дневника, иначе я не обольщал бы себя надеждой на его выздоровление и предоставил бы его мрачному падению.

Протекали недели, – месяцы, он не подавал о себе признака жизни. Он жила то в Антверпене, то в Брюсселе, блуждая иногда по пескам Кампины, по берегам Шельды, шатаясь по оригинальным предместьям, расположенным вокруг главного торгового города и столицы. В Брюсселе он преимущественно занимался пьянством. Он нашёл себе здесь, как мы увидим, более приветливую чернь, менее дикую, чем бродяги родного порта.

На следующих страницах, постепенные успехи его увлечения простым народом доходят до истерии. Многие отрывки, посвящённые психологии брюссельского оборванца, походят на приятную вспышку остроумия. Какое-нибудь юмористическое наблюдение могло бы изменить чувства бедного малого. Но среди излияний, в которых кажется, будто он высмеивает свою манию, вдруг перо начинает скрипеть, чернила принимают снова едкую язвительность, тон крепнет, откровенность возбуждается. Во всём царит непонятная тревога, такая тоска, такое отравление, причиняющее боль и заставляющее задыхаться, – точно рыдания, которые никогда не выльются в слезах!

II. Оборванцы в бархатной одежде

*Mon Âme est maternelle ainsi qu'une patrie
Et je prèfère au lys un pleur de sacripant.*

Сен-Поль-Ру

Я никогда не был так влюблён в жизнь, как сейчас; никогда ещё с такой симпатией не относился я к окружающему меня миру.

Моя ли собственная зрелость сообщила эту прелесть и этот чудный вкус созревшего плода моей обстановке и моим излюбленным существам и наполнила их ароматом амброзии? Часто я наслаждаюсь до слёз. Мир для меня слишком хорош.

Ах! Здешние жители! Бедняки! В течение скольких лет я изучаю их! Жду, не дождусь, чтобы слиться с ними. Я знаю, я клянусь, что ни в одной стране нет молодцов с такой внешностью, такими жестами и такую одеждою! Может быть, через двадцать лет появится большее число подобных лиц, даже у нас, даже из этого чернозёма, пропитанного удобрением? Будут ли лавки, торгующие всяким скарбом, поставлять одежду для покупателей, с такой местной окраской? Будут ли нищие в будущем предоставлены бархатной одежде, как теперь? Кроме того, будут ли подобные драчуны в будущем говорить на том же языке, будут ли у них такие же приёмы? Будут ли слова отличаться в их горле и их устах столь же интересной приправой? Будут ли они забавляться теми же играми, одинаковыми шутками? Может быть, физиономия первоначальных людей изменится, как внешний вид их хижин? Народы исчезают или, по крайней мере, возобновляются и выдерживают неизбежные помеси...

Одновременно меланхолическая и успокоительная мысль, т. к. мне приятно, что я явился в этот момент жизни, а не в другой, скорее здесь, чем где-нибудь далеко, – и изучил на свободе этих декоративных и сильных весельчаков!..

Если верить итальянским картинам, статуям во Флоренции, Греции, некоторым нищим или беднякам, изображённым Веласкесом или Мурилльо, чувствовалось много пластичности у людей в другие эпохи и под другими небесами. Увы, наши художники изображали всегда только уродство и всё гротесковое. Если исключить нескольких молодых пастухов у Жорденса или нескольких помощников палачей у Рубенса, на древних картинах мы встречаем только безобразных уродов и ханжей. Ван-Дейк пренебрёг нашими юношами ради их младших английских братьев. В настоящее время – не лучше. Неужели красивые типы нашей страны навсегда поблèкнут, не встретив оценивших их, усердных кистей художников? В ожидании этого, я, так сильно желавший написать их, очень благодарен моим молодым оборванцам, что они осчастливили меня своею близостью, и я так сильно пропитался ими, что чувствую себя всецело во власти их чар. Они могли бы стать частицей моего существа, эти смешные, нескладные, умиленные и резкие люди, благовонные и дерзкие, распускающиеся в это время точно цветы на нашей мостовой! Я уподобляюсь им, сливаюсь с ними, как бы всасываю в себя их в эстетическом отношении. Сообразно своей роли, они превосходят друг друга, они находят своё выражение, своё высокое назначение. Ни один из них не имеет себе равного в прошлом и не будет иметь в будущем, и всё это – несмотря на их сходство и общее сродство. Насладимся этой беспокойной современностью; изучим настоящую эпоху с лучшими её представителями, с теми, кто украшает настоящий момент и делает его более патетическим. Я хочу пропитаться их взглядами, насытить ими свою фантазию... В этом заключается мой патриотизм; и никто сильнее меня не привязан к полосе земли, производящей такие человеческие побеги; я привязан к ней всею своей способностью любить, всеми чувствами, всеми порами, движениями моих сосков, самыми интимными функциями моего организма...

– «Я признаюсь, сказал бы Бергман – мне кажется, что я слышу его отсюда, – что подобный вид любви к своей родине и своему народу переходит всякую границу. Между тем я хвастаюсь, что я хороший патриот. Я радуюсь числу рождений и браков в Бельгии, я не меньше интересуюсь числом привозимых к нам товаров и наших торговых вывозов, повышением наших общественных фондов, развитием и расширением нашей торговли; я чувствую себя, так сказать, польщённым почестями, которые оказываются бельгийским производствам на всемирных выставках; с некоторою гордостью я смотрю, как проходят наши запылённые и загорелые солдаты, возвращаясь с больших манёвров; то же самое я ощущаю при возвращении наших музыкантов, украшенных лаврами и медалями, с какого-нибудь праздника заграницей; я выпрямляюсь и моё сердце бьётся в такт *брабансонны*; трёхцветный национальный флаг веселит мои взоры. Несмотря на мои демократические чувства, я питаю сыновнее чувство к нашему правителю. В Палате депутатов династия не имеет более горячего приверженца, чем я. Но, что касается того, чтобы интересоваться внешностью наших соотечественников, физиономией людей самого низкого звания, отбросов нашего населения, то мысль посмотреть их вблизи, изучать их с такою настойчивостью не приходила мне в голову! Вот так красивые объекты для восторга и раздумья, эти бездельники! В особенности, когда их тысячи! А Лоран считает их столь же ценными, как соль земли. И из любви к этой породе и к этим пряностям он обожает свою обильную родину. Разумеется, босяки поразились бы первые этому культу моего экзальтированного родственника. Они были бы даже смущены, сознавая, что вызвали такую любовь, и обижены таким предпочтением».

Ты думаешь, кузен?

Многие отличаются только временной красотой. Они проходят, как цветок, редкое насекомое. Скороспелые, они слишком быстро созревают. Нет ничего интенсивнее, чем атмосфера их среды. Они блёкнут также преждевременно. Их жизнь кажется только зарёй, юностью. К счастью, они так же плодотворны, как и эфемерны, и их потомство вскоре напоминает мне их, доставляя высшее наслаждение. В каком возрасте предпочитаю я их? При приближении рекрутского набора, и иногда ещё раньше, в пору, когда учение какому-нибудь мастерству и первые проделки начинают придавать им грубость, в пору перехода к разумному возрасту, появления пушка у губ и первого признака бороды; в пору этой столь раздражающей возмужалости у мальчиков, воспитанных по воле Божией, затем подхваченных бесстыдными «наставниками»; в пору, когда и линияющие птицы, спесивые, угрюмые, чванящиеся пороком и цинизмом, также расточают неловкую ласку и наивно облегчают своё напряжение; в пору, когда они проказничают, отдаваясь со всею вольностью своим желаниям искренних, хищных воробьёв, драчунов и сластолюбцев.

Смешная одежда моих оборванцев подвергается прихотям моды, подобно одежде светских людей; существуют медленные колебания, менее радикальные, чем наверху лестницы, но характерные. Если они не ходят с босыми ногами, – а сколько из этих ног, покрытых мозолями и запылённых, выступает так трогательно из рубищ и бахромы их «*folzar'ов*», – они носят деревянные башмаки, белые или жёлтые, очень бледные или оранжевые, как голландский сыр. Можно встретить башмаки с загнутым кончиком, точно крючок коньков или нос гондолы, с рисунком в различных красках, высеченные, даже позолоченные, покрытые фигурами и атрибутами, – целая чудесно-дикая фантазия!..

Иногда моим любимцам бывает знакома роскошь, когда они носят кожаные башмаки. Из них виден только кончик – из-за гетры, или чего-то похожего на ступню слона, что образуется низом панталон, верхняя часть которых должна обтягивать поясницу.

В другие дни они живут в крайней бедности, – расставаясь с ней и снова к ней возвращаясь, по доброй воле; тогда они наденут жёлтые башмаки на свои носки, оттенка дрожжей, или заставят стучать тяжёлые сапоги с большими гвоздями. Эти гвозди – целая роскошь!

Обыкновенно они ходят одетые в этот полосатый бархат, который – без ущерба для других тонов, мастичного, резедового или бутылочного – переходит целую гамму коричневого оттенка, начиная с золотистого или огненно-рыжего, до сигарного или шоколадного. Если им не удаётся одеться во всё бархатное, их ноги, по крайней мере, одеты в эту прелестную материю, столь приятную для глаз, как ватное пальто для осязания, в этот бархат, словно полученный из кошачей шерсти, тепловатый, как мех, можно было бы сказать: наэлектризованный реакцией ходьбы, движениями, играми и драками его собственников. С течением времени этот бархат на одежде только улучшается, как вино и сигары. На локтях, спине и коленях, материя начинает блестеть, затем вытираться до тех пор, пока, наконец, под рубищами, постоянно подвергавшимися починке, тело показывает свой оттенок пеклёванного хлеба или копчёной рыбы. Чаще всего они ходят без куртки, без матросской тёмно-синей блузы, а надевают вязанные джерсе, тоже синие, но иногда и различных цветов, полосатые, подобно трико гребцов на шлюпке или акробатов. Это трико с вырезом показывает их грубую и здоровую шею, как у матросов. Как красиво держатся и как красиво сложены мои молодцы в этой эластичной одежде! Если они употребляют рубашку, они выбирают её из фланели и, непременно, цветную. Очень редко они прибегают к пытке накрахмаленного ошейника; они почти всегда избегают галстука, если только их рубашка, довольно декольтированная, не имеет отложного воротника, под который они протягивают видимый для глаза широкий галстук, шарф, завязанный по-матросски или шнурок с разноцветными кисточками. Никогда они не носят никакого пальто, или же только в том случае, когда оно одно закрывает их тело. Но зимой все закутывают себе затылок и горло до самого носа в один из этих широких платков, концы которых они откидывают на спину в то время, как ноги дрожат в обуви, почти обратившейся в корпию.

Из всей одежды оборванцев фуражка чаще всего подвергается моде. Одно время, они носили её с жёлтым, как клюв дрозда, козырьком, что подчёркивало наглый и насмешливый характер стольких физиономий. Затем им захотелось носить фуражку из зелёной шерсти или шведскую, как у игроков в крикет, или жокейку, надвинутую на уши. Но один образец их фуражки упорно держится, к тому же – самый кокетливый, и они часто возвращаются к нему по инстинкту, хотя и осмеливаются иногда приниматься за другой: это матросская фуражка, с широким, плоским козырьком, большею частью лакированным, называемая «клипсон». Необходимо, чтобы этот головной убор был запрокинут к шее и надвинут на ухо, причём козырёк должен смело торчать к небу, немного параллельно часто попадающемуся у них вздёрнутому носу и чутким ноздрям. Таков обычай! Часто наши хлыщи носят зеленоватую фетровую шляпу с широкими полями, поднятыми или опущенными; головной убор, который даёт простор фантазии и непринуждённости, причём углубление и кулачные удары придают ему форму в зависимости от настроения того, кто его надевает.

В своей *Исповеди одного курильщика опиума*, Томас де-Квинси отзывается с похвалой об одном опыте, который состоит в том, чтобы в субботу вечером, когда рабочие получили свою плату, присоединиться к их числу, погрузиться, так сказать, в толпу, и побродить в таинственных, запутанных улицах, среди этих грязных жилищ, где ютится суетливый народ, отделённый и загнанный, точно в старинном гетто и больницах для прокажённых. Там надо проникнуть вслед за ними вглубь таверн и трактиров, где все эти бедняки собираются, чтобы истратить полученную заработанную плату и немного развлечься. Пребывание там очень приятно, действует даже успокоительно; этот спуск в социальный ад, указанный Квинси, исходил из прекрасной натуры. Но при этом сближении различных сословий он ограничивался тем, что давал платонические советы бедным семьям, находившимся в затруднительном положении от низкой платы, внезапного прекращения работы или вздорожания той или другой провизии, необходимой для их пропитания. Я же нашёл что-то высшее, скажу это без хвастовства.

В холодное послеобеденное время, наши музеи служат прибежищем и тёплым углом для шатающихся, дрожащих и дурно одетых людей. Разве не трогательно это гостеприимство хра-

мов искусства, предоставляемое этим несчастным? Разве мои бедняки, чувствуя себя охваченными равномерной и лёгкой теплотой, царящей в этом месте, под ласкающим течением воздуха, рвущимся из отверстий отдушин и проникающим сквозь их лохмотья и вдоль их ног, точно щекотливое ползание их паразитов, не поддались бы мало-помалу прелести и обаянию этих веков, полных шедевров?

Я размышлял об этом недавно в музее современного искусства, куда я забрёл вслед за толпою учеников из мастерской. Старший из них служил им проводником из зала в зал, почти не давая им времени, чтобы бросить взгляд на исторические картины, и желая привести их скорее к нагим фигурам, которые они словно поглощали своими острыми взглядами... Иногда так они веселились, что, подталкивая друг друга, бросались на знаменитый красный бархат диванов, которому они причиняли как бы оскорбительное прикосновение дурным бархатом, надетым на них. Служители музея, которые наблюдали за ними с высокомерным видом, и послеобеденный отдых которых был нарушен их бурным вторжением, приказывали им много раз, под страхом изгнания, умерить свои возгласы и укротить свою жестикуюляцию. Угроза, казалось, действовала; они тихо выходили вереницей, с опущенной головой, пристыжённые, но для того, чтобы начать снова ещё громче веселиться в соседней зале.

Между тем, в конце анфилады зал, в последней комнате, после которой надо было возвращаться назад, излишняя весёлость у моих повес вдруг пропала, при виде живописной перспективы, которую открыл искусный архитектор через рамки широких окон, выходящих на старую часть Брюсселя. Это был их город, их квартал! Эти кирпичи и эти трубы говорили им иное, чем нарисованный холст. Припав носом к стеклу, которое они затуманивали своим дыханием, сохранившим запах чеснока, и которое, они сейчас же вытирали обшлагом своего рукава, прорванного на локте, шумные молодцы словно застыли, очарованные этим видом с птичьего полёта на ветхие домики с красными крышами, в запутанности и беспорядке которых они пытались ориентироваться – и угадать приблизительно слуховое окно родного чердака. Какими бы несчастными мне ни казались эти шутники, всё же они угадывали несколько черепитчатых крыш на окраине города, под защитой которых они могли бы провести будущую ночь.

Этого не было заметно у одного маленького бедняжки, которого я до тех пор не заметил, отвлечённый всё время шалостями первых. По сравнению с ним эти нищие отличались цветущим лицом и были одеты, словно дети буржуазных семейств. Если он держался в стороне от их толпы, разумеется, это происходило от его более заметной и кричащей нищеты. Если он не остановился вовсе, как они, перед панорамой города, это происходило, разумеется, от того, что у него не было определённого ночлега в этой запутанности домов. Ему могло быть около пятнадцати, шестнадцати лет; он был такого же возраста, как и остальные шалуны; но он был жалкого роста, так как бедность мешала ему развиваться, а их загорелый и тусклый цвет лица казался розовым рядом с его бледным, просвечивающимся лицом. Как только я его заметил, другие перестали меня интересовать. Предоставляя им восторгаться, я отправился вслед за одиноким мальчиком, по залам, которые он не успел ещё пройти. Несмотря на мучивший его голод, бедняк останавливался перед многими хорошими картинами и созерцал их с наивным любопытством, которого я не замечал у шумных учеников мастерской. Я подошёл к нему так близко, что мог задеть его и я соразмерял мои движения с его движениями, не отходя, пока он сам не делал шага. Заметил ли он мою проделку и старался ли он избежать меня, стесняемый таким, слишком унижительным для его лохмотьев, соседством? В одну минуту он прошёл всю залу и начал пробегать глазами картины со стороны противоположной тому ряду, который мы смотрели до сих пор. Я последовал за ним так явно, что он повернул своё бледное лицо в мою сторону и посмотрел на меня с недоверием, боясь встретить во мне, может быть, выслеживателя бродяг, одного из этих печальных «охотников», которые скачут за празднующимися, чтобы свалить их в насквозь прогнившие полицейские участки. Но мой взгляд, смягчённый чувством симпатии, улыбка, в которую я вложил возможно больше убедительности и ласки,

его отчасти успокоили, не вполне удовлетворив его однако – касательно сущности вызванного им интереса; может быть, этот бедный, малокровный, худенький ребёнок ложно объяснил себе причину моей заботливости, т. к. краска покрыла тайком его щёки. Я всё ещё продолжал молчаливую игру, но точно по какому-то колдовству, в конце концов, он решился в свою очередь вопросительно посмотреть на меня.

Голод, увы, одержал бы верх над его отвращением, даже если б оно было вполне законным.

– Хочешь выйти со мной, мальчик? – прошептал я ему. И, так как он снова испугался, я взял его за руку и потащил наружу, сопровождаемый, без сомнения, поражёнными взглядами почтенных служителей. Очутившись на улице, я повёл бедняжку, который позволял себя вести и был послушен, как собака, вплоть до самой близкой таверны, где, к едва скрытому неудовольствию слуги и кассирши, я велел подать ему английского пива и несколько сандвичей. Он проглотил эту порцию и осушил кружку, не произнося ни слова, с такою жадностью, вид которой доставлял мне столько же радости, сколько и страдания, так как она показала слишком ясно, на какое воздержание был обречён этот бедный мальчик. Расплатившись, я вышел, пропустив его вперёд; затем, на пороге, я протянул ему руку и после того, как он пожал её с некоторым колебанием, я незаметно вложил ему между пальцами монету в сто су, – всё, что у меня оставалось.

– Ах, нет! не может быть ничего более трогательного, клянусь вам, чем удивление моего бедняка, его невыразимое смущение в эту минуту. Я пообещал себе когда-нибудь возобновить этот опыт. Но, если вы будете пытаться подражать мне, спешите скрыться от благодарностей дорогого бедняжки. Оставайтесь лучше под впечатлением этой благодарности, которая не могла вылиться наружу, настолько он задыхался от волнения. Слова или жесты, которые он считал своим долгом прибавить к своему волнению, чтобы выразить свою благодарность, могли бы испортить наслаждение, которое доставило бы вам нервное смущение, внушённое всему его существу вашими щедротами. Это только судорога, продолжавшаяся не более, чем блеск молнии, – скорее гримаса, чем улыбка. Но как это красиво и как хорошо!

Однако, теперь я не доволен, что не устроил себе возможности встретиться с ним снова. Может быть, он дал бы мне материал для изучения, которого я так искал, – средство проникнуть в его мир и узнать, наконец, этот народ, к которому я чувствую такое влечение? Будем надеяться.

Две недели тому назад, мне случилось наблюдать панораму, открывающуюся с этой площади, над которой господствует здание Брюссельского суда, возвышающееся над кишачим внизу городом, преимущественно – городом нашей *cattiva gente*. Облокотившись на балюстраду, я восхищался обширностью перспективы предместий. Позади запутанности маленьких улиц и глухих переулков, я наслаждался этим волнистым горизонтом, словно терпевшим преследования со стороны садического ветра, прогонявшего окровавленные облака, подобно беспорядочной панике развратниц и уличных торговок, бегущих перед сворою зрителей тюрьмы. То, что происходило на небе, заставляло меня думать об атмосфере террора и обычного нарушения законов, об этих сборищах, развёртывающихся у моих ног. Под впечатлением этих разнообразных ощущений я спустился, держась за перила, кончающиеся у перекрёстка, создаваемого улицами *de l' Epee, des Minimes* и *Notre-Dame de Grâce*. Спустившись вниз, я наткнулся на группу с полдюжины сильных бедняков, отличавшихся местным колоритом, словом, с настоящими оборванцами. Они носили свою смешную одежду с такою неуклюжестью и такою небрежностью, которая им так идёт, и которую я так безумно люблю!

Один из самых высоких с ожесточением набросился на одного из маленьких, который позволял обижать себя с некоторою податливостью. Мучитель повалил его на землю, и наносил ему лёгкие удары ногой по пояснице или, ложась на него, брал его двумя руками и заставлял его прикасаться в несколько приёмов к краю тротуара, но не причинял ему боли, т. к. тот

ошал для виду и прикидывался плачущим. Их товарищи составляли круг возле боровшихся и забавлялись, в ожидании своей очереди. И так как я остановился, одновременно встревоженный и развеселившийся, переходя от удовольствия, которые мне доставляли быстрые движения, мускулистые усилия этих молодцов, к опасению увидеть их игры законченными какой-нибудь потасовкой, один из смотревших, может быть, невольно предупреждённый этим странным чувством солидарности и товарищества, которое захватывало меня всего, по отношению к этому дикому народу и всё усиливалось, – заговорил со мною в следующих выражениях: «Вот так оборванцы, сударь, не правда ли? Всегда готовы драться, как собаки!»

А другой из праздношатающихся, указывая на мальчика, смиренно переносившего побои своего здорового победителя, сказал: «Посмотрите, что случилось с ним. Он весь в грязи!»

Почему человеческое достоинство, от которого я считал себя освободившимся, помешало мне ответить молодцу: «не думай, твои товарищи далеко не противны, а очень милы мне, так как я люблю оборванцев!» Нет, сконфузившись, я продолжал свой путь, не сказав ни слова, но, едва я только удалился, с полным чувством собственного достоинства, с недовольной миной буржуа, как я уже хотел вернуться назад. «Ах, сказал я себе, это можно ещё поправить: когда-нибудь я отправлюсь по направлению к этому перекрёстку, бездельники должны встречаться там, так как место – самое удобное для их забав, и это действительно было бы неудачей для меня, если бы я их никогда не встретил. К тому же, в той стороне много им подобных. За неимением их, я могу сойтись с их собратьями. Выходы из здания суда извергают, как бы очищаясь, в окрестные переулки, толпы этих негодяев, во время перерыва заседаний исправительного суда, который они снабжают обвиняемыми, истцами, свидетелями, зрителями и клакёрами, так как судилища имеют своих клакёров, как театральные залы».

Случай мне помог. Через два дня, я снова встретил своих пятерых весельчаков. Снова они дрались, или, скорее, тот же терпеливый мальчик трепетал под тяжестью того же палача. На одну минуту они представили собою тачку: большой поднял маленького за ноги и заставлял его ходить на руках.

Тот, который обратился ко мне третьего дня, узнал меня и снова осмелился заговорить со мною: «Сударь, каковы оборванцы!» Он применял и к самому себе очень униженно, без всяких оговорок, то насмешливое прозвище, которое им дают честные люди.

Это был молодой бездельник, нервный и крепкий по сложению, с нетвёрдой походкой, очень беспокойный, с жёлтым цветом лица, с помятым и подвижным лицом, с живыми, чёрными глазами, с курчавыми волосами, в куртке, приподнятой выше поясицы благодаря движению рук, спрятанных в карманы панталон.

На этот раз я отвечал, и таким тоном, каким должны были исповедовать Бога первые христиане, ощущая волнение и предвкушая пытку: «я-то люблю оборванцев от всего моего сердца!» Я повторил даже это заявление, так как молодой насмешник смотрел на меня с изумлением, не веря своим ушам или не понимая меня. Затем медленным, ленивым голосом, этим модулирующим голосом, который они усваивают при драках или выкриках товаров, он протянул: «Эй, вы все! Послушайте этого человека! Он говорит, что любит оборванцев!»

При этом неслыханном откровении, оба боровшихся прекратили свои объятия, напоминая мне увёртки угрей, которых возят в тачках торговцы рыбой, ещё задыхаясь, не переставая рассматривать меня, как любопытного зверя, они оправлялись, как можно лучше, толкая свою рубашку и вязаную куртку в панталоны и встряхивая свою фуражку, ударяя ею по задней части тела, о которую они также трут спички. Может быть, они сочли меня за сумасшедшего? Разумеется, я их поразил. Я был одет не изысканно, но всё же слишком буржуазно. Развязные наблюдатели, какими они были, могли быстро определить мою личность. Было ли благоприятным для меня их изучение? Победил ли я их предубеждение, их хроническое презрение, всё, что волновало их, как самое незаметное дуновение ветра приводит в движение тополя? Они подходили ко мне осторожно, как собаки без хозяина, с которыми заговорили

ласковым голосом. Смотря им в глаза, я пригласил их отправиться со мною в их любимый кабачок, чтобы, как я сказал, сойтись с ними ближе, за стаканом вина, и доказать им искренность моих чувств. После того, как они посоветовались между собою одну минутку, выбирая кабачок, так как подобных учреждений было достаточно в этих краях, они кончили тем, что указали мне один, на углу двух маленьких улиц. Я спросил можжевелевой водки, которую мы распили у конторки. При первой круговой рюмке мои весельчаки выказывали себя ещё осторожными, но лёд растаял, когда я спросил ещё водки. Значит, это было серьёзно? Я им доверял? Мы чокались, и самый высокий, тот, который над ними командовал, предложил сесть, чтобы удобнее было беседовать, и мы расселись, как старые приятели. Они быстро освоились со мною, охваченные этою потребностью выражения своих чувств и общения, которая характеризует самые низшие существа. Они наперерыв приближались ко мне, устраивались возле меня или напротив, держали свои локти, свои колена возле моих. Их дыхание щекотало мне затылок и уши. Языки развязались; они говорили почти все зараз, соперничая в оригинальных выходках, осыпая меня градом шуток, чтобы казаться интересными; они хотели бы открыться мне вполне, заставить меня понять их до глубины души, рассказать мне в двух словах всю свою жизнь. В отличие от буржуазных юношей и жеманных барышень, чувствовалось благородное желание симпатии и любви в их обращении и разговорах... Вскоре они уже позволяли себе по моему адресу такие эти вольности, которые постоянно прерывали их разговоры, и которые я одобрял, так как платил им тем же: они ощупывали у меня мускулы, ударяли меня по спине, пробовали сопротивление моих мускулов, и самый сильный из них опустил с такою настойчивостью свои два кулака на мои лопатки, что я даже закачался. Вообще, я держался ровно, и не казался им ни дьяволом, ни подлецом. Во всяком случае, у них было утешение по поводу главного: я не принадлежал к полиции. Их чутьё непременно предупредило бы их об этом.

Смотритель тюрьмы, сыщик, агент полиции и нравов имеют на своём лице какую-то неизгладимую черту, которая не обманывает никогда заинтересованных людей.

Одно время я подвергся настоящему допросу; эти бедняки изучали мою моральную и физическую сторону.

– Чем занимаетесь вы, сударь?

Из какого-то остатка самолюбия, я не хотел признаться им, что бездельничаю, как они, и я выдал себя за журналиста. Журналист? Это им говорило немного.

– Ну да, журналист, писатель!

– Но ведь газета печатается, не пишется!

– Как он глуп! Послушай, ты понимаешь...

И они дополняли мои слишком мудрёные объяснения, стараясь растолковать другим, что представляла собою эта редкая птица журналист. Каждый давал свои собственные объяснения. Когда это ему удавалось не более, чем другим, и он начинал что-то лепетать, «галерея» грубо заставляла его замолчать. Они кончили тем, что заговорили все сразу; они стучали ногами, толкались, громко кричали, прямо в лицо друг другу, и их мясистые части тела, возбуждаясь вместе с их словами, делали влажными их лохмотья и сообщали это их фланелевой нижней одежде, а оттуда всему воздуху. Эти притоки юной силы были сходны с запахом сочных деревьев.

– Я знаю, я! Дайте мне сказать! – прервал всех в самый разгар шума высокий парень, увлекающийся и нервный, хорошо сложенный, с красивой наружностью, с карими глазами, точно наделёнными золотыми блёстками, матовым цветом лица, красивыми усами, белокурыми волосами, которые он тщательно помадил, являвшийся типом «адониса предместий», страстного чувственника и доброго малого, без самодовольства, но всё же с каким-то жестоким и беспокойным оттенком в улыбке и взгляде.

Его называли Дольф Турлемин или Турламэн.

– Журналист, – сказал он, – это вот что...

Но вместо того, чтобы определить, что такое газетчик, за кого я себя выдавал, – он увлёкся одним очень живым описанием газетной обстановки перед выходом номера.

Он, разумеется, встречался там часто с теми из его товарищей, которые искали какого-нибудь места. Шум от безработных был там так велик, что можно было подумать, что это бунт... Как только ротационные машины начинают свой стон, образуется ужасная толкотня перед дверями. Они опережают продавцов газет, хватают на ходу ещё сырые листки, вырывая их друг у друга, рискуя совсем разорвать. Те, кому достался номер, развёртывают его на спине своего товарища. Они спешат посмотреть колонки мелкого текста, где указаны предложения труда. Неграмотные просят прочесть тех, кто умеет читать. Затем они бросаются врассыпную и начинается безумная скачка, точно где-нибудь случился пожар. Всякий хочет прийти первым.

Зволю или Мемен, развязный брюнет, с «помятым, как чернослив», лицом, тот, который тогда заговорил со мной, вспомнил, что он встречал мне подобных людей, с пером за ухом, в типографиях, печатающих газеты, в пору какого-нибудь выстрела или важной телеграммы, – куда однажды он, весь задыхаясь, принёс известие о взрыве, свидетелем которого он был, за что и получил десять су. Зволю составил себе приблизительное представление о том, что такое газетный работник.

Видя усилие, с которым мои молодцы объясняют себе мою личность, я раскаиваюсь, что ввёл их в заблуждение, но я обещаюсь впоследствии разъяснить им моё настоящее положение.

– Итак, значит, и я журналист!

Тот, кто пытается вмешаться, Иеф Кампернульи, рыжий силач с золотистыми кудрями, с белой и розовой кожей, с большими весёлыми глазами, с спесивым видом и разговором, – что-то вроде служителя в мясной или на бойне, обычного посетителя атлетических состязаний; это – крепкий, но добродушный малый, применяющий свою силу только в учтиво ведённой борьбе и нападениях... Это как раз тот самый, который бросал на землю, к его собственному удовольствию, Палуля Кассизма, маленького блондина с лицом первого причастника, с голубыми глазами, шелковистыми светлыми волосами, с приятным голосом.

Кампернульи мог быть случайно нанят в типографии для продажи какого-нибудь сенсационного номера, если когда-нибудь почувствовалась необходимость в увеличении обычного числа работников. С тех пор он считает себя журналистом. К тому же, он располагает солидными лёгкими, чтобы выкрикивать свой товар, и он показал это нам на примере, крикнув во всё горло название одной французской газеты, название которой настолько коверкается под влиянием местного акцента, что его почти невозможно понять. Кампернульи кричал бы ещё, если б начальствующий над ними не зажал ему рот своей широкой рукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.